

Александр Александрович Блок

**Из записных книжек и  
дневников**



# Александр Александрович Блок

## Из записных книжек и дневников

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=7406410](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7406410)*

### Аннотация

«В знаменье видел я вещей сон. Что-то порвалось во времени, и ясно явилась мне Она, иначе ко мне обращенная, – и раскрылось тайное. Я видел, как семья отходила, а я, проходя, внезапно остановился в дверях перед ней. Она была одна и встала навстречу и вдруг протянула руки и сказала странное слово туманно о том, что я с любовью к ней. Я же, держа в руках стихи Соловьева, подавал ей, и вдруг это уж не стихи, а мелкая немецкая книга – и я ошибся. А она все протягивала руки, и занялось сердце. И в эту секунду, на грани ясновиденья, я, конечно, проснулся...»

# Содержание

1901	4
1902	5
1906	14
1907	19
1908	22
1909	25
1910	27
1911	29
1912	38
1913	41
1914	43
1915	44
1916	46
1917	48
1918	50
1919	65
1920	66
1921	68

**Блок Александр**  
**Из записных**  
**книжек и дневников**  
*(фрагменты)*

**1901**

**26 сентября**

В знаменье видел я вещий сон. Что-то порвалось во времени, и ясно явилась мне Она, иначе ко мне обращенная, – и раскрылось тайное. Я видел, как семья отходила, а я, проходя, внезапно остановился в дверях перед ней. Она была одна и встала навстречу и вдруг протянула руки и сказала странное слово туманно о том, что я с любовью к ней. Я же, держа в руках стихи Соловьева, подавал ей, и вдруг это уж не стихи, а мелкая немецкая книга – и я ошибся. А она все протягивала руки, и занялось сердце. И в эту секунду, на грани ясновиденья, я, конечно, проснулся

# 1902

Стихи – это молитвы. Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает ее в божественном экстазе. И все, чему он слагает ее, – в том кроется его настоящий бог. Дьявол уносит его – и в нем находит он опрокинутого, искалеченного, – но все милее, – бога. А если так, есть бог и во всем тем более – не в одном небе бездонном, а и в «весенней неге» и в «женской любви».

Потом чуткий читатель. Вот он схватил жадным сердцем неведомо полные для него строки, и в этом уже и он празднует своего бога.

Вот таковы стихи. Таково истинное вдохновение. Об него, как об веру, о «факт веры», как таковой, «разбиваются волны всякого скептицизма». Еще, значит, и в стихах видим подтверждение (едва ли нужное) витания среди нас того незыблемого Бога, Рока, Духа... кого жалким, бессмысленным и глубоко звериным воем встретили французские революционеры, а гораздо позже и наши шестидесятники.

Рече безумец в сердце своем: несть бог».

---

В минуту смятенья и борьбы лжи и правды (всегда борются бог и дьявол и тут они же борются) взошли новые цветы – цветы символизма, всех веков, стран и народов. Заглушенная криками богохульников, старая сила почуяла и послы-

шала, как воспрянул ее бог, – и откликнулась ему. К одному вечному, незыблемому камню бога подвалился и еще такой камень – «в предвестие, иль в помощь, иль в награду».

Это была новая поэзия в частности и новое искусство вообще. К воздвижению мысли, ума присоединилось воздвижение чувства, души. И все было в боге.

Есть люди, с которыми нужно и можно говорить только о простом и «логическом», – это те, с которыми не ощущается связи мистической. С другими – с которыми все непрестанно чувствуется сродство на какой бы ни было почве – надо говорить о сложном и «глубинном». Тут-то выяснятся истины мира – через общение глубин (см. Брюсов).

---

Есть два рода литературных декадентов: хорошие и дурные; хорошие – это те, которых не следует называть декадентами (пока только отрицательное определение); дурные – те, кому это имя принадлежит, как по существу, так и этимологически. Заранее оговорившись относительно терминов, легче разобраться. Будем же понимать под словом декадент то, что это слово значит, – именно: упадок, ибо другие значения, навязываемые ему (отчего это происходит – скажу ниже), очевидно, совершенно нелепы.

Название декадентство прилепляется публикой ко всему, чего она не понимает. Это – факт очень обыкновенный и доказывающий только (еще раз!), что на «большую публику» следует махнуть рукой. Но есть люди, стоящие выше «совре-

менной aurea mediocritas»<sup>1</sup>, – и тем-то из них, кто все-таки, часто просто не вникая в суть и не разбирая, прилепляет удобное по краткости и бранчивости звуков слово к нелюбимым произведениям известного рода, – им-то пора разобратъ, и определить, и выяснить свои мысли. Наша литература (к чести ее) очень мало за себя заступается, а на брань Бурениных не обращает внимания, что имеет одну дурную сторону: публика-то так и остается в неведении относительно литературных родов настоящего времени и все мешает в одну кучу (чему, кстати, очень способствуют настоящие «упадочники», дегенераты, имена которых история сохранит без благодарности).

---

Декадентство – «decadence» – упадок.

Упадок (у нас?) состоит в том, что иные, или намеренно, или просто по отсутствию соответствующих талантов, затемняют смысл своих произведений, причем некоторые сами в них ничего не понимают, а некоторые имеют самый ограниченный круг понимающих, т. е. только себя самих; от этого произведение теряет характер произведения искусства и в лучшем случае становится темной формулой, составленной из непонятных терминов – как отдельных слов, так и целых конструкций.

---

**2 апреля**

---

<sup>1</sup> Золотой середины (лат.).

М-те Мережковская дала мне еще Бугаевские письма. Следует впоследствии обратить на них внимание больше – на громаду и хаос, юность и старость, свет и мрак их. А не будет ли знаменьем некоего «конца», если начну переписку с Бугаевым? Об этом очень нужно подумать.

А пока еще раз ИЗУЧИТЬ длинное письмо Бугаева о синтезе цветов, любви, рассудка, чувств. Он, испытывая высшие напряжения (одни из высших), постигает, очевидно, многое, но так хаотично, ибо громадно. Сила его прозрений может разрешиться в некоторое величие успокоения «вблизи от милой стороны». «Колокола» же его уже теперь перезванивают «лиру» – знак ли это? Сегодня я буду у Мережковских.

---

Да неужели же и я подхожу к отрицанию чистоты искусства, к неумолимому его переходу в религию. Эту склонность ощущал я (только не мог формулировать, а Бугаев, Д. Мережковский и З. Гиппиус вскрыли) давно (см. критика на декадентство). Excelsior!<sup>2</sup> (слово Мережковского). Дай бог вместить все, ведь и Полонский, чистый «творец», говорил:

...как ни громко пой ты – лиру,  
Колокола перезвонят.

Прочеть Мережковского о Толстом и Достоевском.

---

<sup>2</sup> Выше! (лат.)



Очень мне бы важно. Что ж, расплывусь в божестве, разольюсь в мире и буду во всем тревожить Ее сны. «Все познать и стать выше всего» (формула Михаила Крамера) – великая надежда, «данная бедным в дар и слабым без труда».

## 26 июня

[...]Собирая «мифологические» матерьялы, давно уже хочу я положить основание мистической философии моего духа. Установившимся наиболее началом смело могу назвать только одно: женственное.

Обоснование женственного начала в философии, теологии, изящной литературе, религиях.

Как оно отразилось в моем духе.

Внешние его формы (антитеза).

Я, как мужской коррелят «моего» женственного.

«Эгоистическое» исследование.

---

Сейчас я вернулся из Боблова (21 июля 1902 года, ночь). [Л. Д.]<sup>3</sup> сегодня вернулась от Менделеевых, где гостила чуть не месяц. У нее хороший вид; как всегда почти – хмурая; со мной еле говорит. Что теперь нужно предпринять – я еще не знаю. Очень может быть, что произойдет опять вспышка. [Иначе и мирская логика трудно (а может быть, и вовсе не) позволяет, потому что всегда всякий человек, пребывая известное количество моментов в одном положении, требует

---

<sup>3</sup> Л. Д. Менделеева; инициалы в рукописи густо зачеркнуты.

заполнить следующие моменты другим. Огромный плюс к этому неоспоримому еще нечто: стоит ли? Стоит ли, то есть, отвлекаться? Мало того: имею ли я мировое право не творить ужасного? Таков вопрос, весьма согласующийся с натурой вопрошающего: беспринципностью. Иначе быть не может. Что же именно нужно делать?

Я хочу не объятий: потому что объятия (внезапное согласие) – только минутное потрясение. Дальше идет «привычка» – вонючее чудище.

Я хочу не слов. Слова были и будут; слова до бесконечности изменчивы, и конца им не предвидится. Все, что ни скажешь, останется в теории. Больше испуга не будет. Больше ПРЕЗРЕНИЯ (во многих «формах») – не будет.

Правда ли, что я ВСЕ (т. е. мистику жизни и созерцания) отдам за одно? Правда. «Синтеза»-то ведь потом, разумеется, добьешься. Главное – овладеть «реальностью» и «оперировать» над ней уже. *Corpus ibi agere non potest, ubi non est!*<sup>4</sup>

Я хочу сверх-слов и сверх-объятий. Я хочу того, что БУДЕТ. Все, что случится, того и хочу я. Это ужас, но правда. Случится, как уж – все равно, все равно что. Я хочу того, что случится. Потому это, что должно случиться и случится – то, чего я хочу. Многие бедняжки думают, что они разочарованы, потому что они хотели не того, что случилось: они ничего не хотели. Если кто хочет чего, то то и случится. Так и будет. То, чего я хочу, будет, но я не знаю, что это, потому

---

<sup>4</sup> Тело не может действовать там, где его нет! (лат.)

что я не знаю, чего я хочу, да и где мне знать это пока!

То, чего я хочу, сбудется.

## 29 августа<sup>5</sup>

Пишу Вам как человек, желавший что то забыть, что-то бросить – и вдруг вспомнивший, во что это ему встанет. Помните Вы-то эти дни – эти сумерки? Я ждал час, два, три. Иногда Вас совсем не было. Но, боже мой, если Вы были! Тогда вдруг звенела и стучала, захлопываясь, эта дрянная, мещанская, скаредная, дорогая мне дверь подъезда. Сбегал свет от тусклой желтой лампы. Показывалась Ваша фигура – Ваши линии, так давно знакомые во всех мелочах, изученные, с любовью наблюденные. На Вас бывала, должно быть, полумодная шубка с черным мехом, не очень новая; маленькая шапочка, под ней громадный, тяжелый золотой узел волос – ложился на воротник, тонул в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы держали платье маленькой длинной согнутой кистью руки в черной перчатке – шерстяной или лайковой. В другой руке держали муфту, и она качалась на ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного нагибаясь вправо и влево, смотря вперед, иногда улыбаясь (от Марьи Михайловны). (Мне все дорого.) Такая высокая, «статная», морозная. Изредка, в сильный мороз, волосы были спрятаны в белый шерстяной платок. Когда я догонял Вас, Вы оборачивались с необычно-

---

<sup>5</sup> Черновик письма к Л. Д. Менделеевой.

венно знакомым движением в плечах и шее, смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле до-трагивалась (и вообще-то Ваша рука всегда торопится вы-рваться). Когда я шел навстречу, Вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца. Я путался, гово-рил ужасные глупости (может быть, пошлости), падал духом; вдруг душа заливалась какой-то душевной волной («В эти сны, наяву непробудные...»). И вдруг, страшно редко, – но ведь было же и это! – тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение, может быть, мимолетная дрожь, – или все это бы-ло, лучше думать, одно воображение мое. После этого опять еще глуше, еще неподвижнее.

Прощались Вы всегда очень холодно, как здоровались (за исключением 7 февраля). До глупости цитировались мной стихи. И первое Ваше слово – всегда легкое, капризное: «кто сказал?», «чьи?» Как будто в этом все дело! Вот что хотел я забыть; о чем хотел перестать думать! А теперь-то что? Пржнее, или еще хуже?

P. S. Все, что здесь описано, было на самом деле. Больше это едва ли повторится. Прошу впоследствии иметь это в ви-ду. Записал же, как столь важное, какое редко и было, даже, можно сказать, просто в моей жизни ничего такого и не бы-вало, – да и будет ли? Все вопросы, вопросы – озабоченные, полужлобные... Когда же это кончится, господи?

**31 октября. Перед ночью**

Мне было бы страшно остаться с Вами. На всю жизнь – тем более. Я и так иногда боюсь и дрожу при Вас незримой. Могу или лишиться рассудка, или самой жизни. Это бывает больше по вечерам и по ночам. Неужели же Вы каким-нибудь образом не ощущаете этого? Не верю этому, скорее думаю наоборот. Иногда мне чувствуется близость полного и головокружительного полета. Это случается по вечерам и по ночам – на улице. Тогда мое внешнее спокойствие и доблесть не имеют границ, настойчивость и упорство – тоже. Так уже давно, и все больше дрожу, дрогну. Где же кризис – близко или еще долго взбираться? Но остаться с Вами, с Вами, с Вами...

# 1906

## 18 января. Религия и мистика

Они не имеют общего между собой. Хотя – мистика может стать одним из путей к религии. Мистика – богема души, религия – стояние на страже.

Относительно «религиозного искусства»: его нет иначе, как только переходная форма. Истинное искусство в своих стремлениях не совпадает с религией. Оно – позитивно или мистично (то и другое – однородно). Искусство имеет свой устав, оно – монастырь исторического уклада, т. е. такой монастырь, который не дает места религии. – Религия есть то (о том), что будет, мистика – что было и есть.

Мистицизм в повседневности – тема прекрасная и богатая, историко-литературная, утонченная; она к нам пришла с Запада: это позитивизм. Между тем эту тему, столь сродную с душой «декадентства», склонны часто принимать за религиозную. Какая в этом неправда и какая богатая почва для обмеления! Ибо сильная душа пройдет насквозь и не обмелет в ней, так как не убоится здравого смысла. А слабая душа, вечно противящаяся «здравому смыслу» (во имя нездорового смысла), потеряет и то, что имела. (Лучше ничего не иметь, чем иметь хлыстик вместо бича.)

Мистика проявляется наиболее (характеризуется) в экстазе (который определим как заключение союза с миром про-

тив людей). Религия чужда экстаза (мы должны спать и есть и читать и гулять религиозно), она есть союз с людьми против мира КАК КОСНОСТИ (?). NB: все, что в мире откроется как НЕ КОСНОЕ (может быть, и все), – сейчас же становится предметом религии. Просто и банально на примере: развратное отношение к женщине – косность (может быть, и мистика), чистое – религия.

Мистицизм повседневности обогащает ее. Это – что-то навязываемое творчески, требующее формулировки, рассуждения. После того как эти формулировки обмелеют (обнажатся, – ибо наступает и это), остается или уснуть (ждать терпеливо и Долго возвращения старого), или разбить окно и, просунув голову, увидеть, что жизнь проста (радостна, трудна, сложна). Последнее (через нищету) – путь к религии.

Крайний вывод религии – полнота, мистики – косность и пустота. Из мистики вытекают истерия, разврат, эстетизм. Но религия может освятить и мистику, например: красное вино с золотыми (зелеными) змейками освящено уже. Краугольный камень религии – бог, мистики – тайна; крайний мистик может стать машиной тайновиденья (Verhaeren), крайний позитивист – машиной понятновиденья (профессор). Оба они – одинаковы (профессор Verhaeren).

Мистики любят вожжаться с «городами» и «деревнями», они любят скарб; они – переплетчики, библиотекари, книголюбы, антиквариисты. Мистика требует экстаза. Экстаз есть уединение. Экстаз не религиозен. Мистики любят быть по-

этами, художниками. Религиозные люди не любят, они разделяют себя и свое ремесло (искусство).

Мистики очень требовательны. Религиозные люди – скромны.

Мистики – себялюбивы, религиозные люди – самолюбивы.

\* \* \*

Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем отдаленнее эти слова от текста. В самом темном стихотворении не блещут эти отдельные слова, оно питается не ими, а темной музыкой пропитано и пресыщено. Хорошо писать и звездные и беззвездные стихи, где только могут вспыхнуть звезды или можно их самому зажечь.

## **21 декабря**

Со мною бывает часто, все чаще физическое томление. Вероятно, то же у беременных женщин: проклятие за ношение плода; мне проклятие за перерождение. Нельзя даром призывать Диониса – в этом все призывание Вакха, по словам самого В. Иванова. Если не преобразуюсь, умру так в томлении. [...]

Стихи Городецкого – вчера вечером он прислал мне



«Ярь» с такими милыми словами на книге и в письме. Большая книга. Параллельно – читал кузминские «Крылья» – чудесные. Но Кузмин не выйдет из «страны». Городецкий весь полет. Из страны его уносит стихия, и только она, вынося из страны, обозначает «гениальность». Может быть, «Ярь», первая книга в этом году открытие, книга открытий, возбуждающая ту злость и тревогу в публике, которую во мне великое всегда возбуждает. Новое, молодое, стремящееся – а родные, знакомые и остальные им подобные мусорщики будут спорить, бурлить, брызгать слюнями, зевать и всячески так испражняться. Может быть, даже эта книга, несмотря на кабацкие рекламы Чуковского и знаменитость Городецкого, проваляется в складах. А склад – в «Труде», – может быть – первая «нетрудная» книга, избавленная от той грязи и проклятия, которые всякий труд за собой несет. Вчера я страстно и тщетно убеждал в этом изнервленного доцента Веселовского и медвежатину Верховского. Они упирались.

---

Ремизов расцветает совсем. Большое готовится время. «Чертик» Ремизова великолепен, особенно если слушать его из его уст (даровитейший чтец). А на жюри Курсинский прочел, как пономарь, – и все-таки мы премировали.

Моя вина перед Городецким – моя нерешительность, прежняя кислота, боязнь. Надо было быть размазней, как я был, чтобы так мало учуять этот «ветр с цветущих берегов».

---

Стихами своими я недоволен с весны. Последнее было – «Незнакомка» и «Ночная фиалка». Потом началась летняя тоска, потом действенный Петербург и две драмы, в которых я сказал, что было надо, а стихи уж писал так себе, полунужные. Растягивал. В рифмы бросался. Но, может быть, скоро придет этот новый свежий мой цикл. И Александр Блок – к Дионису.

# 1907

## 1 августа

Мое несогласие с Вяч. Ивановым (варварство).

Мое согласие с Андреем Белым.

---

Не считая ни для себя, ни для кого позором – учиться у Андрея Белого, я возражаю ему сейчас не по существу, а только на его способ критиковать, который погружает его самого, чисто внешним образом, в безвыходные противоречия.

---

Мистический анархизм! А есть еще – телячий восторг. Ничего не произошло – а теленок безумствует.

---

Мое несогласие с Вяч. Ивановым в терминологии и пафосе. (Особенно последнее). Его термины меня могут оскорблять. Миф, соборность, варварство. Почему не сказать проще? Ведь, по существу, в этом ничего нового нет.

---

Светлая всегда со мною. Она еще вернется ко мне. Уже не молод я, много «холодного белого дня» в душе. Но и прекрасный вечер близок.

---

Есть писатели с самым корявым мировоззрением, о кото-

рое можно зацепиться все-таки. Это значит, у них есть пафос. А за Чулкова, например, не зацепишься. У него, если пафос, так похож на чужой, а чаще – поддельный напыщенная риторика.

## 20 августа

«Весы» в настоящий момент – самый боевой журнал в России. Действительно, с мистическими анархизмами в литературу проникла какая-то негодная струя. Отношение к культуре не бережно. Мистический анархизм неуловим, как справедливо писал мне Бугаев. Совершенно в стороне для меня в этом отношении стоит Вячеслав Иванов, который глубоко образован и писатель замечательный (статьи его в «Весах» и стихи). Он употребил много труда на то, чтобы теперь доказывать ненужность труда (устно, впрочем, но не в писаниях), – и это мне ни в коем случае нельзя забывать. Неприятен мне его душный эротизм и противноватая легкость. Городецкий совсем не установился, и Бугаев глубоко прав, указывая на его опасность – погибнуть от легкомыслия и беспочвенности. Статья Городецкого о Сологубе – ни к чему не нужна, глупа, безграмотна, некультурна. Когда в статье «Три поэта» («Перевал», Л 8/9) Городецкий говорит о «вчерашнем дне», я боюсь, как и Бугаев, что за этим может последовать надругательство над Брюсовым, /poets/balмонт\_bio.html»>Бальмонтом и Вяч. Ивановым. Сюннерберг просто умен и бездарен, Мейер-Чулкова необходимо

поприудержать, он совсем некультурен. Возмутительно его притягивание меня к своей бездарности.

Напишу письмо в редакцию «Весов» по поводу идиотского сообщения «Mercure de France».

NB. Минский («Перевал», Л 8/9) считает «мистический анархизм» эстетической теорией (!). Даже философы ничего не понимают.

# 1908

## 6 марта

Зачем ты так нагло смотришь женщинам в лицо? – Всегда смотрю. Женихом был – смотрел, был влюблен – смотрел. Ищу своего лица. Глаз и губ.

## 29 октября

Я захотел вступить в Религиозно-философское общество с надеждой, что оно изменится в корне. Я знаю, что здесь соберутся цвет русской интеллигенции и цвет церкви, но и я интеллигент. У церкви спрашивать мне решительно нечего. Я чувствую кругом такую духоту, такой ужас во всем происходящем и такую невозможность узнать что-нибудь от интеллигенции, что мне необходимо иметь дело с новой аудиторией, вопрошать ее какими бы то ни было путями. Хотя бы прочтением доклада и выслушивания возражений свежих людей. Может быть, я глубоко ошибаюсь, и все окружающее, ежедневное говорит мне каждый День, что нечего ждать от интеллигенции (нечего говорить, что и от духовенства) не только мне, но и всем. Я вижу большую, чем когда-нибудь, отчужденность. Потому я забочусь вовсе не о самом себе – я-то, может быть, и спасусь как-нибудь, но мне нужно глубоко не то. Я хочу, чтобы зерно истины, которое я, как один из думающих, мучающихся и т. д. интеллигентов, несомненно

ношу в себе, – возросло, попало на настоящую почву и принесло плод – пользу.

Я наблюдаю совершившийся факт. Интеллигенция (о церкви я опять-таки не говорю) перестала друг другу верить, перестала понимать друг друга, слушать друг друга, и нечего радоваться тому, что два-три человека, как В. В. Розанов и В. А. Тернавцев, интересуются друг другом и слушают друг друга. Их спор – замечательный спор, но его можно слушать только в более благополучное время. Теперь все слишком неблагоприятно.

Я допускаю мысленно, что все теперешние члены общества согласятся между собою, найдут общие точки. Что же, это и будет смертью и поруганием общества, потому что тогда оно окончательно уйдет из жизни, превратится в какой-то благодатный и тем самым позорный оазис. Все согласившиеся выйдут на улицу и увидят тот же страшный мрак, ту же грозовую тучу, которая идет на нас. Вот во мраке этой грозовой тучи мы и находимся.

Это должно принять во внимание. Нужно понять, что все обстоит необыкновенно, страшно неблагоприятно. И если цвет русской интеллигенции ничего не может поделать с этим мраком и неблагоприятием, как этот цвет интеллигенции мог, положим, в 60-х годах, бороться с мраком, – то интеллигенции пора вопрошать новых людей. И главное, что я хотел сказать, это то, что нам, интеллигентам, уже нужно торопиться, что, может быть, уже вопросов теории и быть не

может, ибо сама практика насущна и страшна.



# 1909

## Ночь 11–12 июня

Проснувшись среди ночи под шум ветра и моря, под влиянием ожившей смерти Мити от Толстого, и какой-то давней вернувшейся тишины, я думаю о том, что вот уже три-четыре года я втягиваюсь незаметно для себя в атмосферу людей, совершенно чужих для меня, политиканства, хвастливости, торопливости, гешефтмахерства. Источник этого – русская революция, последствия могут быть и становятся уже ужасны. [...]

Надо резко повернуть, пока еще не потерялось сознание, пока не совсем поздно. Средство – отказаться от литературного заработка и найти другой. Надо же как-нибудь жить. А искусство – мое драгоценное, выколачиваемое из меня старательно моими мнимыми друзьями, – пусть оно остается искусством [...] без Чулкова, без модных барышень и альманашников, без благотворительных лекций и вечеров, без актерства и актеров, без ИСТЕРИЧЕСКОГО СМЕХА. Италии обязан я, по крайней мере, тем, что разучился смеяться. Дай бог, чтобы это осталось. «Песня Судьбы» отравлена всем этим. Я хотел бы иметь своими учителями Мережковских, Валерия Брюсова, Вяч. Иванова, Станиславского. Хотел бы много и тихо думать, тихо жить, видеть немного людей, работать и учиться. Неужели это невыполнимо? Толь-

ко бы всякая политика осталась в стороне. Мне кажется, что только при этих условиях я могу опять что-нибудь создать. Прошу обо всем этом пока только самого себя. Как Люба могла бы мне в этом помочь.

NB. Почему это – усиленное тяготение к драме. Верно, примешивается постоянное соображение о том, что драма больше всего денег дает. А деньги, чтобы скучать и считать. – Без Бугаева и Соловьева обойтись можно. Озлобление свое ослабить. – Значит, революция только отложила мою какую-то черновую работу (заработок) на четыре года. Теперь о нем подумать страшно, но надо же как-нибудь жить и отвести в ежедневности – угол для денег, а в душе – угол, для загнанного искусства и своей работы. А вдруг – стерпится слюбится? Надо только начать что-нибудь не слишком противное – не пойдет ли потом как по рельсам?

\* \* \*

Когда я влюбился в те глаза, в них мерцало материнство – какая-то влажность, покорность непонятная. И все это было обманом. Вероятно, и Клеопатра умела отразить материнство в безучастном море своих очей.

# 1910

## 20 января

«Яр». Третья годовщина.

Скрипки жаловались помимо воли пославшего их. – Три полукруглые окна («второй свет» «Яра») – с Большого проспекта – светлые, а из зала мрачные – небо слепое.

Я вне себя уже. Пью коньяк после водки и белого вина. Не знаю, сколько рюмок коньяку. Тебе назло, трезвый (теперь я могу говорить с тобой с открытым лицом – узнаешь ли ты меня? Нет!!!).

## 18 февраля

Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей. Люба создала всю эту невыносимую сложность и утомительность отношений, какая теперь есть. Люба выталкивает от себя и от меня всех лучших людей, в том числе – мою мать, то есть мою совесть. Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба, как только она коснется жизни, становится сейчас же таким дурным человеком, как ее отец, мать и братья. Хуже, чем дурным человеком – страшным, мрачным, низким, устраивающим каверзы существом, как весь ее поповский род. Люба на земле – страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но – 1898–1902 сделали то,

что я не могу с ней расстаться и люблю ее.

# 1911

## 17 октября

Писать дневник, или по крайней мере делать от времени до времени заметки о самом существенном, надо всем нам. Весьма вероятно, что наше время – великое и что именно мы стоим в центре жизни, т. е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки.

Я начинаю эту запись, стесняясь от своего суконного языка перед самим собою, усталый от нескольких дней (или недель), проведенных в большом напряжении и восторге, но отдохнувший от тяжелого и ненужного последних лет.

Мне скоро 31 год. Я много пережил лично и был участником нескольких, быстро сменивших друг друга, эпох русской жизни. Многое никуда не вписано, и много драгоценного безвозвратно потеряно.

В начале сентября мы воротились: Люба – из Парижа, я – оттуда же, проехав Бельгию и Голландию и поживя в Берлине. Мама поселилась здесь, у них уютно и тихо.

Как из итальянской поездки (1909) вынесено искусство, так из этой – о жизни: тягостное, пестрое, много несвязного. Женя<sup>6</sup>, как и летом, непонятен мне, но дорог и любим. В последний раз, когда он приходил, мне было с ним чрезвы-

---

<sup>6</sup> Е. Иванов

чайно хорошо. [...]

Пяст живет, сцепя зубы, злится и ждет лучшего. Он поселился в непрактической квартире с сильно беременной женой, каждый день на службе, послал рассказ (больница, Врубель?) в «Русскую мысль» (через Ремизова), перевел Тирсо ди Молину (как я «Праматерь» – много никуда не годного, чего, как и я тогда (NB – Бенуа!), не видит). Стихов не пишет. «Западник». Мы еще не видались как следует.

Городецкий – затихший, милый. Его статья обо мне, несказанно тронувшая (Люба приносит ее, когда я лежу в кровати утром в смертельном ужасе и больной от «пьянства» накануне). [...] – Все только факты, почти голые, осветится понемногу потом, если писать почаще.

Клюев – большое событие в моей осенней жизни. Особаченный Мережковскими, изнуренный приставаньем Санжарь, пьяными наглыми московскими мордами «народа» (в Шахматове было, по обыкновению, под конец невыносимо лучше забыть, забыть), спутанный, – я жду мужика, мастеровщину, П. Карпова темномордое. Входит – без лица, без голоса – не то старик, не то средних лет (а ему – 23?). Сначала тяжело, нудно, я сбит с толку, говорю лишнее, часами трещит мой голос, устаю, он строго испытует или молчит. Обед. Муж Тани пришел пьяный, тихо колотит ее за дверь, она ревет, девочка в жару (жаба) бежит в комнаты, Люба тащит ее на руках назад, мы выбегаем унять мужа, уже уходящего по лестнице. Минута – и входит Кузьмин-Караваев –

полусумасшедший, между бровями что-то делается, говорит еще дико. Их перебрасывание словами с Ключевым («господин, ищущий власти», – а не имущий власть – «царь всегда на языке, готов»). Только в следующий раз Ключев один, часы нудно, я измучен, и вдруг бесконечный отдых, его нежность, его «благословение», рассказы о том, что меня поют в Олонецкой губернии, и как (понимаю я) из «Нечаянной Радости» те, благословляющие меня, сами не принимают ничего полусказанного, ничего грешного. Я-то не имел права (веры) сказать, что сказал (в «Нечаянной Радости»), а они позволили мне: говори. И так ясно и просто в первый раз в жизни – что такое жизнь Л. Д. Семенова и даже – А. М. Добролюбова. Первый Рязанская губ., 15 верст от имения родных, в семье, крестьянские работы, никто не спросит ни о чем и не дразнит (хлысты, но он – не). «Есть люди», которые должны избрать этот «древний путь», – «иначе не могут». Но это – не лучшее, деньги, житье – ничего, лучше оставаться в мире, больше «влияния» (если станешь в мире «таким»). «И одежу вашу люблю, и голос ваш люблю». Тут многое не записано, запаматовано, я был все-таки рассеян, но хоть кое-что. Уходя: «Когда вспомните обо мне (не внешне), – значит, я о вас думаю».[...] Вячеслав Иванов<sup>7</sup>. Если хочешь сохранить его, – окончательно подальше от него. Простриг бороду, и на

---

<sup>7</sup> В первом заседании Религиозно-философского общества будет говорить речь о национализме, (NB. – «Мережковские», /poets/allegro\_bio.html)>П. С. Соловьева, А. Столыпин, Меньшиков, Розанов – много бы написал, да мерзко, дрянно, забудется). (Прим. А. Блока.)

подбородке невыразимо ужасная линия, глубоко врезалась. Внутри воеет Гёте, «классицизм» (будь, будь спокойнее). Язвит, колет, шипит, бьет хвостом, заигрывает – большое, но меньше, чем (могло бы) должно быть. Дочь – худа, бледна, измучена, печальна.

Происходит окончательное разложение литературной среды в Петербурге. Уже смердит.

Будущее покажет, что о ком еще записать.

Стадия поэмы (семидесятые годы, о двух полюсах в искусстве, семейное, Чацкий, Демон).

Надо, побеждая восторги (частые) и усталость (редкую – я здоров), писать задумчиво. Это написать (что я задумал) – надо. «Помогай бог». Но *minimum* литературных дружб – там отравишься и заболеешь.

Боря<sup>8</sup>, молчание (?) «Мусагета», Боря с женой на даче, моя смутность, «хроники Мусагета».

Чулков – жалкость, пакостничество в минимальных дозах, варьетэ, акробатка – кровь гуляет. Много еще женщин, вина, Петербург – самый страшный, зовущий и молодящий кровь – из европейских городов.

Сегодня: без людей. Солнце, мороз, красиво, гулял днем, вечером изныл от усталости – вино и утра без сна сказались.

Заячьи цветочки.

Сейчас уже ночь, мы собираемся спать, а я только сейчас случайно вспомнил, что такое – 17 октября. Днем я вспоми-

---

<sup>8</sup> Андрей Белый



нал еще о saint catastrophe<sup>9</sup>. Но 17 октября есть тот день (и я это помнил), когда мы встретились на улице и были в Казанском соборе.

## **23 октября**

[...] Все эти вечера читаю «Александра I» (Мережковского). Писатель, который никого никогда не любил по-человечески, – а волнует. Брезгливый, рассудочный, недобрый, подозрительный даже к историческим лицам, сам себя повторяет, а тревожит. Скучает безумно, так же, как и его Александр I в кабинете, – а красота местами неслыханная. Вкус утончился до последней степени: то позволяет себе явную безвкусицу, дурную аллегорию, то выбирает до беспощадности, оставляя себе на любованье от женщины – вздох, от декабриста – эполет, от Александра – ямочку на подбородке, – и довольно. Много сырого матерьялу, местами не отличается от статей и фельетонов.

## **7 ноября**

[...] В первом часу мы пришли с Любой к Вячеславу<sup>10</sup>. Там уже собрание большое. Городецкие (с Вышнеградской), – Анна Алексеевна волнуется, – Кузмин (читал хорошие стихи, вечером пел из «Хованщины» с Каратыгиным – хороший, какой-то стал прозрачный, кристальный), Кузми-

---

<sup>9</sup> Святой катастрофе (франц.)

<sup>10</sup> Вяч. Иванов

ны-Караваевы (Елизавета Юрьевна читала стихи, черноморское побережье, свой «Понт»), Чапыгин, А. Ахматова (читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше) [...] Вячеслав читал замечательную сказку «Солнце в перстне».

В кабинете висит открытый теперь портрет Лидии Дмитриевны<sup>11</sup> – работы М.В. Сабашниковой: не по-женски прекрасно.[...]

\* \* \*

Неведомо от чего отдыхая, в тебе поет едва слышно кровь, как розовые струи большой реки перед восходом солнца. Я вижу, как переливается кровь мерно, спокойно и весело под кожей твоих щек и в упругих мускулах твоих обнаженных рук. И во мне кровь молодеет ответно, так что наши пальцы тянутся друг к другу и с неизъяснимой нежностью сплетаются помимо нашей воли. Им трудно еще встретиться, потому что мне кажется, что ты сидишь на высокой лестнице, приклоненной к белой стене дома, и у тебя наверху уже светло, а я внизу, у самых нижних ступеней, где еще туманно и темно. Скоро ветер рук моих, обжигаясь о тебя и становясь горячим, снимает тебя сверху, и наши губы уже могут встретиться, потому что ты наравне со мной. Тогда в ушах моих

---

<sup>11</sup> Л. Зиновьева-Аннибал

начинается свист и звон виол, а глаза мои, погруженные в твои веселые и открытые широко глаза, видят тебя уже внизу. Я становлюсь огромным, а ты совсем маленькой; я, как большая туча, легко окружаю тебя – нырнувшую в тучу и восторженно кричащую белую птицу.<sup>12</sup>

## 18 ноября

И ночью и днем читал великолепную книгу Дейссена. Она помогла моей нервности; когда днем пришел Георгий Иванов (бросил корпус, дружит со Скалдиным, готовится к экзамену на аттестат зрелости, чтобы поступить в университет), я уже мог сказать ему ([...] о Платоне, о стихотворении Тютчева, о надежде) так, что он ушел другой, чем пришел. В награду – во время его пребывания – записка от Н. Н. Скворцовой, разрешившая одно из моих сомнений последних дней (разрешившая на несколько часов).[...]

Если бы я умер теперь, за моим гробом шло бы много народу, и была бы кучка молодежи.

Читал поэму Пяста, поражался ее подлинностью и значительностью. Наконец прочел всю. Стихи «Апрель» Сережи Соловьева – нет, не только «патологическое» талантливо (как говорила мама), есть, например, «Шесть городов».

Мы кончили обедать, пришел Серг. Серг. Петров, назвавший себя на карточке и на сборнике стихов «Грааль Арельский», что утром (когда он передал карточку) показалось

---

<sup>12</sup> Запись сделана на отдельном листке, вложенном в дневник.

мне верхом кощунства и мистического анархизма. Пришел – лицо неприятное, провалы на щеках, маленькая, тяжелая фигурка. Стал задавать вопросы – вяло, махал рукой, что незачем спрашивать, что выходит трафарет, интервью. О нем днем говорил мне Георгий Иванов, но он не такой (как говорил Георгий Иванов). Бывший революционер, хотел возродить «Молодую Россию» 60-х годов, был в партии (социал. революционеров.), сидел в тюрьмах, астроном (при университете), работает в нескольких обсерваториях, стрелялся и травился, ему всего 22 года, но и вид и душа старше гораздо.

Не любит мира. «Люди не понимают друг друга». Скучно. Есть Гамсуновское. Уезжает, живет один в избушке, хочет жить на Волге, где построит на клочке земли обсерваторию. Зовет меня ночью в обсерваторию Народного дома смотреть звезды. Друг Игоря Северянина. Принес сборник стихов. «Азеф нравится – сильный человек», – нравился до тех пор, пока не стал «просить суда». Его пригнула к земле вселенная, звездные пространства, с которыми он имеет дело по ночам. Звезды ему скучны (в науке разуверился, она – тоскливое кольцо, несмотря на ее современное возвращение к древности), но «красивы» (говорит вместо «прекрасны»). «Бога не любит».

**4 декабря**<sup>13</sup>

Наталия Николаевна, я пишу Вам бесконечно усталый,

---

<sup>13</sup> Черновик письма к Н. Н. Скворцовой. 1912.

эти дни – на сто лет старше Вас. Пишу ни о чем, а просто потому, что часто, и сейчас, между прочим, думаю о Вас и о Ваших письмах, и Ваша нота слышится Мне.

В душе у меня есть темный угол, где я постоянно один, что иногда, в такие времена, как теперь, становится тяжело. Скажите, пожалуйста, что-нибудь тихое мне – нарочно для этого угла души – без той гордости, которая так в Вас сильна, и даже – без красоты Вашей, которую я знаю.

Если же Вы не можете сейчас, или просто знаете о себе, что Вы так еще молоды, что не можете отрешиться от гордости и красоты, то ничего не пишете, а только так, подумайте про себя, чтобы мне об этом узнать.

# 1912

## 13 января

Пришла «Русская мысль» (январь). Печальная, холодная, верная – и всем этим трогательная – заметка Брюсова обо мне. Между строками можно прочесть: «Скучно, приятель? Хотел сразу поймать птицу за хвост?» Скучно, скучно, неужели жизнь так и протянется – в чтении, писании, отделеывании, получении писем и ответчании на них) Но – лучше ли «гулять с кистенем дремучем лесу»)[...]

Собираюсь (давно) писать автобиографию Венгерову (скучно заниматься этим каждый год). Во всяком случае, надо написать, кроме никому не интересных и неизбежных сведений, что «есть такой человек» (я), который, как говорит З. Н. Гиппиус, думал больше о правде, чем о счастье. Я искал «удовольствий», но никогда не надеялся на счастье. Оно приходило само и, приходя, как всегда, становилось сейчас же не собою. Я и теперь не жду его, бог с ним, оно – не человеческое.

Кстати, по поводу письма Скворцовой: пора разорвать все эти связи. Все известно заранее, все скучно, не нужно ни одной из сторон. Влюбляется, или даже полюбит, – отсюда письма – груда писем, требовательность, застигание всегда не вовремя; она воображает (всякая, всякая), что я всегда хочу перестраивать свою душу на «ее лад». А после известного

промежутка – брань. Бабье, какова бы ни была – 16-летняя девчонка или тридцатилетняя дама. Женоненавистничество бывает у меня периодически – теперь такой период.

Если бы я писал дневник и прежде, мне не приходилось бы постоянно делать эти скучные справки. Скучно писать и рыться в душе и памяти, так же как скучно делать вырезки из газет. Делаю все это, потому что потом понадобится.

## 17 апреля

[...] утверждение Гумилева, что «слово должно значить только то, что оно значит», как утверждение – глупо, но понятно психологически, как бунт против Вяч. Иванова и даже как желание развязаться с его авторитетом и деспотизмом. [...] В. Иванову свойственно миражами сверхискусства мешать искусству. «Символическая школа» – мутная вода. Связи quasi<sup>14</sup>-реальные ведут к еще большему распылению. Когда мы («Новый путь», «Весы») боролись с умирающим, плоско-либеральным, псевдореализмом, это дело было реальным, мы были под знаком Возрождения. Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения. Для того чтобы принимать участие в «жизнетворчестве» (это суконное слово упоминается в слове от редакции «Трудов и дней»), надо воплотиться, показать свое печальное человеческое лицо, а не псевдо-лицо несуществующей школы. Мы русские.[...]

---

<sup>14</sup> Здесь: псевдо (лат.).

**21 ноября**

[...] Весь день просидел Городецкий и слушал очень внимательно все, что я говорил ему о его стихах, о Гумилеве, о цехе, о тысяче мелочей. А я говорил откровенно, бранясь и не принимая всерьез то, что ему кажется серьезным и важным делом.



# 1913

## 10 февраля

Четвертая годовщина смерти Мити. Был бы теперь 5-й год.

Третья годовщина смерти В.Ф. Коммиссаржевской. Только музыка необходима. Физически другой. Бодрость, рад солнцу, хоть и сквозь мороз.

Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше один, отвечаю за себя, один – и могу еще быть моложе молодых поэтов «среднего возраста», обремененных потомством и акмеизмом.[...]

## 12 марта

[...] О Дягилеве и Шаляпине. Цинизм Дягилева и его сила. Есть в нем что-то страшное, он ходит «не один». Искусство, по его словам, возбуждает чувственность; есть два гения: Нижинский и Стравинский. [...] Все в Дягилеве страшное и значительное... [...]

## 25 марта

Мы в «Сирине» говорили об Игоре-Северянине, а вчера я читал маме и тете его книгу. Отказываюсь от многих своих слов, я приуменьшал его, хотя он и нравился мне временами очень. Это – настоящий, свежий, детский талант. Куда пой-

дет он, еще нельзя сказать: у него нет темы. Храни его бог.

Эти дни – диспуты футуристов, со скандалами. Я так и не собрался. Бурлюки, которых я еще не видал, отпугивают меня. Боюсь, что здесь больше хамства, чем чего-либо другого (в Д. Бурлюке).

Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеизм. Последние – хилы, Гумилева тяжелит «вкус», багаж у него тяжелый (от Шекспира до... Теофиля Готье), а Городецкого держат, как застрельщика с именем; думаю, что Гумилев конфузится и шокируется им нередко.

Футуристы прежде всего дали уже Игоря-Северянина. Подозреваю, что значителен Хлебников. Е. Гуро достойна внимания. У Бурлюка есть кулак. Это более земное и живое, чем акмеизм. [...]

## **10 декабря**

Когда я говорю со своим братом – художником, то мы оба отлично знаем, что Пушкин и Толстой – не боги. Футуристы говорят об этом с теми, для кого втайне и без того Пушкин – хам («аристократ» или «буржуа»), Вот в чем лесть и, следовательно, ложь. [...]

## **23 декабря**

Совесьть как мучит! Господи, дай силы, помоги мне.

9 января<sup>15</sup>

[...] А что, если так: Пушкина научили любить опять по-новому – вовсе не Брюсов, Щеголев, Морозов и т. д.; а... футуристы. Они его бранят, по-новому, а он становится ближе по-новому. В «Онегине» я это почувствовал. Кстати: может быть, Пушкин, бесконечно более одинок и «убийственен» (Мережковский), чем Тютчев. Перед Пушкиным открыта вся душа – начало и конец душевного движения. Все до ужаса ясно, как линии на руке под микроскопом. Не таинственно как будто, а может быть, зато по-другому, по-«самоубийственному», таинственно.

Брань во имя нового совсем не то, что брань во имя старого, хотя бы новое было неизвестным (да ведь оно всегда таково), а старое – великим и известным. Уже потому, что бранить во имя нового – труднее и ответственнее.

---

<sup>15</sup> Продолжение записи от 10 декабря 1913.

# 1915

## 15 октября

Если бы те, кто пишет и говорит мне о «благородстве» моих стихов и проч., захотели посмотреть глубже, они бы поняли, что: в тот момент, когда я начинал «исписываться» (относительно – в 1909 году), у меня появилось отцовское наследство; теперь оно иссякает, и положение мое может опять сделаться критическим, если я не найду себе заработка. «Честным» трудом литературным прожить среднему и требовательному писателю, как я, почти невозможно. Посоветуйте же мне, милые доброжелатели, как зарабатывать деньги; хоть я и ленив, я стремлюсь делать всякое дело как можно лучше. И, уж во всяком случае, я очень честен.

## 18 октября

Грехи, пока тебя волнуют Твои невинные грехи, Пока красавицу колдуют Твои греховные стихи.

## 10 ноября

[...] Одичание – вот слово; а нашел его книжный, трусливый Мережковский. Нашел почему? Потому что он, единственный, работал, а Андреев и ему подобные – тру-ля-ля, гордились. [...]

Итак, одичание.

Черная, непроглядная слякоть на улицах. Фонари – через два. Пьяного солдата сажают на извозчика (повесят?). Озлобленные лица у «простых людей» (т. е. у *vrais grand monde*<sup>16</sup>). [...]

Молодежь самодовольна, «аполитична» с хамством и вульгарностью. Ей культуру заменили Вербицкая, Игорь Северянин и пр. Языка нет. Любви нет. Победы не хотят, мира – тоже. Когда же и откуда будет ответ?

---

<sup>16</sup> Настоящий большой свет (франц.).

# 1916

## 28 июня

Мои действительные друзья: Женя (Иванов), А. В. Гиппиус, Пяст (Пестовский), Зоргенфрей.

Приятели мои добрые: Княжнин (Ивойлов), Верховский, Ге.

Близь души: А. Белый (Бугаев), З. Н. Гиппиус, П. С. Соловьева, Александра Николаевна.

Запомнились: Купреянов – будет художник, Минич – добрая девушка.

Каталог книг – петербургских – имеется. Чего не хватает (взято читать) – записано в записной книжке (дела этого года).

Несмотря на то (или именно благодаря тому), что я «осознал» себя художником, я не часто и довольно тупо обливаюсь слезами над вымыслом и упиваюсь гармонией. Свежесть уже не та, не первоначальная.

С «литературой» связи я не имею, и горжусь этим. То, что я сделал подлинного, сделано мною независимо, т. е. я зависел только от неслучайного.

Лучшими остаются «Стихи о Прекрасной Даме». Время не должно тронуть их, как бы я ни был слаб как художник.

В «Театре» – лишнее: «Теофиль» и весьма сомнителен «Король на площади». Примечаний к «Розе и Кресту» не на-

до.

Цикл «Кармен» должен заканчиваться стихотворением «Что же ты потупилась».

Том статей собирать не стоит. Лучшая статья – о символизме. Но все – не кончено, книги не выйдет, круг не замкнут.

Поэма остается неоконченной. Техника того, что написано последним, слабовата уже.

Драма о фабричном возрождении России, к которой я подхожу уже несколько лет, но для которой понадобилось бы еще много подступов (даже исторических), завещается кому-нибудь другому – только не либералу и не консерватору, а такому же, как я, неприкаянному.

Я не боюсь шрапнелей. Но запах войны и сопряженного с ней – есть хамство. Оно подстерегало меня с гимназических времен, проявлялось в многообразных формах, и вот – подступило к горлу. Запаха солдатской шинели не следует переносить. Если говорить дальше, то эта бессмысленная война ничем не кончится. Она, как всякое хамство, безначальна и бесконечна, безобразна.

# 1917

## 14 апреля

Начало жизни?

Выезд из дружины в ночь на 17 марта. Встреча с Любой в революционном Петербурге. 10–13 апреля – Крюково – мама; еврейка. 13 апреля – днем Художественный театр, вечер у Гзовской. 14 апреля меня вызывает М. И. Терещенко.

Я – «одичал»: физически (обманчиво) крепок, нравственно расшатан (нейрастения – д-р Каннабих). Мне надо заниматься своим делом, надо быть внутренне свободным, иметь время и средства для того, чтобы быть художником. Бестолочь дружины (я не имею права особенно хулить ее, потому что сам участвовал в ней), ненужность ее для государства.

Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы (не своей слабой силой) я художник, т. е. свидетель. Нужен ли художник демократии?

«Концерт», или «мистерия», Станиславского (об этом он говорил мне в Крюкове, а перед тем – Рахманинову).

## 22 апреля

Все будет хорошо, Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дожждаться.

Ал. Блок. 22.IV.1917



## 21 мая

[...] Отдыхая от службы перед обедом, я стал разбирать (чуть не в первый раз) ящик, где похоронена Л. А. Дельмас. Боже мой, какое безумие, что все проходит, ничто не вечно. Сколько у меня было счастья («счастья», да) с этой женщиной. Слов от нее почти не останется. Останется эта груда лепестков, всяких сухих цветов, роз, верб, ячменных колосьев, резеды, каких-то больших лепестков и листьев. Все это шестит под руками. Я сжег некоторые записки, которые не любил, когда получал; но сколько осталось. И какие пленительные есть слова и фразы среди груды вздора. Шпильки, ленты, цветы, слова. И все на свете проходит. Как она плакала на днях ночью, и как на одну минуту я опять потянулся к ней, потянулся жестоко, увидев искру прежней юности на лице, молодеющем от белой ночи и страсти. И это мое жестокое (потому что минутное) старое волнение вызвало только ее слезы. [...] Бедная, она была со мной счастлива. Разноцветные ленты, красные, розовые, голубые, желтые, розы, колосья ячменя, медные, режущие, чуткие волосы, ленты, колосья, шпильки, вербы, розы.

## 28 мая

[...] ... я написал письмо Любе, очень нехорошее письмо, нехорошее моей милой. Не умею писать ей. Никогда не умел ее любить. А люблю. [...]

# 1918

## 4 января

О чем вчера говорил Есенин (у меня).

Кольцов – старший брат (его уж очень вымуштровали, Белинский не давал свободы), Клюев – средний – «и так и сяк» (изограф, слова собирает), а я младший (слова [...] – только «проткнутые яйца»).

Я выплевываю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия).

(Интеллигент) – как птица в клетке; к нему протягивается рука здоровая, жилистая (народ); он бьется, кричит от страха. А его возьмут... и выпустят (жест наверх; вообще – напев А. Белого – при чтении стихов и в жестах, и в разговоре).

Вы – западник. Щит между людьми. Революция должна снять эти щиты. Я не чувствую щита между нами.

Из богатой старообрядческой крестьянской семьи – рязанец. Клюев в молодости жил в Рязанской губернии несколько лет.

Старообрядчество связано с текучими сектами (и с хлыстовством). Отсюда – о творчестве (опять ответ на мои мысли – о потоке). Ненависть к православию. Старообрядчество московских купцов – не настоящее, застывшее.

Никогда не нуждался. Есть всякие (хулиганы), но нельзя в них винить народ.

Люба: «Народ талантливый, но жулик». Разрушают (церкви, Кремль, которого Есенину не жалко) только из озорства. Я спросил, нет ли таких, которые разрушают во имя высших ценностей. Он говорит, что нет (т. е. моя мысль тут впереди?).

Как разрушают статуи (голая женщина) и как легко от этого отговорить почти всякого (как детей от озорства).

Клюев – черносотенный (как Ремизов). Это – не творчество, а подражание (природе, а нужно, чтобы творчество было природой; но слово – не предмет и не дерево; это – другая природа; тут мы общими силами выясняли).

[Ремизов (по словам Разумника) не может слышать о Клюеве – за его революционность.]<sup>17</sup>

Есенин теперь женат. Привыкает к собственности. Слушать не хочет (мешает свободе).

Образ творчества: схватить, прокусить.

Налимы, видя отражение луны на льду, присасываются ко льду снизу и сосут: прососали, а луна убежала на небо. Налиму выплеснуться до луны.

Жадный окунь с плотвой: плотва во рту больше его ростом, он не может проглотить, она уж его тащит за собой, не он ее.

## 31 января

---

<sup>17</sup> Скобки в автографе Иванов-Разумник (псевд. Разумника Васильевича Иванова)

[...] Юноша Стэнч<sup>18</sup> (проводивший меня до дому). Мы – дрянь, произведения буржуазии. Если социализм осуществится (я образован, знаю четыре языка и знаю, что он осуществится), нам останется только умереть. Мы не имеем понятия о деньгах (обеспечены). Полная неприспособленность к жизни. Октябрьский переворот все-таки лучше февральского (немного пахнет самодержавием). Все – опиисты, наркоманы. Модно быть влюбленным в Кузмина, Юрьева (женщины – нимфоманки). Эфир. Каждый вечер – три телефонных звонка от барышень («Вы так испорчены, что заинтересовали меня»).

Нас – меньшинство, но мы – распоряжаемся (в другом лагере современной молодежи). Мы высмеиваем тех, которые интересуются социализмом, работой, революцией и т. д.

Мы живем только стихами. За пять лет не пропустили ни одного издания. Всё наизусть (Бальмонт, я, Игорь Северянин, Маяковский... тысячами стихов). Сам пишет декадентские стихи (рифмы, ассонансы, аллитерации, танго). Сначала было 3 Б (Бальмонт, Брюсов, Блок); показались пресными, – Маяковский; и он пресный, – Эренбург (он ярче всех издевается над собой; и потому скоро мы все будем любить только Эренбурга).

Все это – констатированье. «И во всем этом виноваты (если можно говорить о вине, потому что и в вас кто-то виноват) – вы отчасти. Нам нужна была каша, а вы нас кормили

---

<sup>18</sup> Валентин Стенич

амброзией».

Я каждые полгода собираюсь самоубиться». [...]

### 30 августа

Весной 1897 года я кончил гимназические экзамены и поехал за границу с тетей и мамой – сопровождать маму для лечения.

Из Берлина в Bad Nauheim<sup>19</sup> поезд всегда раскачивается при полете (узкая колея и частые повороты). Маму тошнило в окно, а я придерживал ее за рукава кофточки. После скучного житья в Bad Nauheim'e, слонянья и лечения здорового мальчика, каким я был, мы познакомились с m-me Садовской.

Альмединген, Таня, сестра m-me Садовской, доктор, ее комната, хораллы, Teich<sup>20</sup> по вечерам, туманы под ольхой, мое полосканье рта *viaigre de toilette!*<sup>21</sup>, ее платок с *Peau d'Espagne*.<sup>22</sup>

Летом мы вернулись в Шахматове. На вокзале в Москве нас встретила О. Ю. Каминская, которая приготовила маму к тому, что с дидей случился удар.

Осенью я шил франтоватый сюртук, поступил на юридический факультет, ничего не понимал в юриспруденции (за-

---

<sup>19</sup> Бад-Наухайм, курорт в Германии.

<sup>20</sup> Пруд (нем.).

<sup>21</sup> Туалетным уксусом (франц.).

<sup>22</sup> «Испанская кожа» (франц.), сорт духов.

видовал какому-то болтуну – кн. Тенишеву), пробовал за-чем-то читать Туна (?), какое-то железнодорожное законодательство в Германии (?!). Виделся с m-те Садовой, вероятно, стал бывать у Качаловых (Н. Н. и О. Л.) (?). К сожалению, не помню, как кончился год.

Весной следующего года на выставке (кажется, передвижной) я встретился с Анной Ивановной Менделеевой, которая пригласила меня бывать у них и приехать к ним летом в Боблово по соседству.

С января уже начались стихи в изрядном количестве. В них – К. М. С., мечты о страстях, дружба с Кокой Гуном (уже остывавшая), легкая влюбленность в m-те Левицкую – и болезнь. В Шахматове началось со скуки и тоски, насколько помню.

Меня почти спровадили в Боблово. Я приехал туда на белой моей лошади и в белом кителе со стэком. Меня занимали разговором в березовой роще mademoiselle и Любовь Дмитриевна, которая сразу произвела на меня сильное впечатление. Это было, кажется, в начале июня.

Я был франт, говорил изрядные пошлости. Приехали «Менделеевы». В Боблове жил Н.Э. Сум, вихрастый студент (к которому я ревновал). К осени жила Марья Ивановна. Часто бывали Смирновы и жители Стрелицы.

Мы разыграли в сарае «Горящие письма» (Гнедича?), «Букет» (Потапенки), сцены из «Горя от ума» и «Гамлета». Происходила декламация. Я сильно ломался, но был уже

страшно влюблен.

Сириус и Вега.

Кажется, этой осенью мы с тетей ездили в Трубицыно, где тетя Соня подарила мне золотой; когда вернулись, бабушка дошивала костюм Гамлета.

К осени, по возвращении в Петербург, посещения Забалканского стали сравнительно реже (чем Боблова). Любовь Дмитриевна доучивалась у Шаффе, я увлекся декламацией и сценой (тут бывал у Качаловых) и играл в драматическом кружке, где были присяжный поверенный Троицкий, Тюменев (переводчик «Кольца»), В. В. Пушкарева, а премьером – Берников, он же – известный агент департамента полиции Ратаев, что мне сурово поставил однажды на вид мой либеральный однокурсник. Режиссером был – Горский Н. А., а суфлером бедняга Зайцев, с которым Ратаев обращался хамски.

В декабре этого года я был с *mademoiselle* и Любовью Дмитриевной на вечере, устроенном в честь Л. Толстого в Петровском зале (на Конюшенной?). На одном из спектаклей в Зале Павловой, где я под фамилией «Борский» (почему бы?) играл выходную роль банкира в «Горнозаводчике» (во фраке Л. Ф. Кублицкого), присутствовала Любовь Дмитриевна.

Все эти утехы в вихре света [...] кончились болезнью.

Я валялся в казармах, в квартире верхнего этажа, читая массу книг (тогда, между прочим, – всего Писемского) и то-

мясь. [...] Приходил Виша Грек (тогда юнкер?).

В это время происходило «политическое» – 8 февраля и мартовские события у Казанского собора (рассказ о Вяземском). Я был ему вполне чужд, что выразилось в стихах, а также в той нудности, с которой я слушал эти разговоры у дяди Николая Николаевича (Бекетова) и от старого студента Попова, который либеральничал с мамой и был весьма надменен со мной.

Эта «аполитичность» кончилась плачевно. Я стал держать экзамены (я сидел уже второй год на первом курсе?), когда «порядочные люди» их не держали. Любовь Дмитриевна, встретившая меня в Гостином дворе, обошлась со мной за это сурово. На экзамене политической экономии я сидел дрожа, потому что ничего не знал. Вошла группа студентов и, обратясь к профессору Георгиевскому, предложила ему прекратить экзамен. Он отказался, за что получил какое-то (не знаю, какое) выражение, благодаря которому сидел в слезах, закрывшись платком. Какой-то студент спросил меня, собираюсь ли я экзаменоваться, и, когда я ответил, что собираюсь, сказал мне: «Вы подлец». На это я довольно мягко и вяло сказал ему, что могу ответить ему то же самое. – Когда я, дрожа от страха, подошел к заплаканному Георгиевскому и вынул билет. Георгиевский спросил меня, что такое «рынок». Я ответил: «Сфера сбыта»; профессор вообще очень ценил такой ответ, не терпя, когда ему отвечали, что рынок есть «место сбыта». Я знал это твердо (или запомнил из лек-



ции, или услышал от кого-то). За это Георгиевский сразу отпустил меня, поставив мне пять.

Не помню, однако, засел ли я на втором курсе на второй год (или сидел на первом два года). Во всяком случае, я остался до конца столь же чужд юридическим

Приехали в Шахматово (лето 1899). Я стал ездить в Боблово как-то реже, и притом должен был ездить в телеге (верхом было не позволено после болезни).

Помню ночные возвращенья шагом, осыпанные светляками кусты, темень непроглядную и суровость ко мне Любови Дмитриевны. – «Менделеевы» опять были в Боблове, но спектакли были как-то менее одушевленны.

Были повторения, а из нового – «сцена у фонтана» с Сарой Менделеевой, которую повторили в Дедове с Марусей Коваленской.

В Шахматове, напротив, жизнь была более оживленной. Приезжали Соловьевы и, кажется, А. М. Марконет. Мы с братьями представляли пьесу собственного сочинения и «Спор греческих философов об изящном» на лужайке, а с Сережей служили обедню в березовом кругу. Сережа чувствовал ко мне род обожания, ибо я представлялся ему (и себе) неотразимым и много видевшим видов Дон-Жуаном.

Любовь Дмитриевна уезжала к Менделеевым (кажется). Я ездил в Дедово, где неприлично и парнисто ухаживал за Марусей, а потом – с Сережей в Трубицыно. Там был разговор с Покотиловым о Сормовских заводах (почему-то).

К осени я, по-видимому, перестал ездить в Боблово (суровость Любви Дмитриевны и телега). Тут я просматривал старый «Северный вестник», где нашел «Зеркала» З. Гиппиус. И с начала петербургского житья у Менделеевых я не бывал, полагая, что это знакомство прекратилось.

Тут произошло знакомство с Катей Хрустальной (осень в Петербурге). Юридический факультет, как и прежде, не памятен. (Должно быть, в ту осень профессор полицейского права Ведров говорил, грассируя: «В одну любовь, широкую, как море...» и т. д.).

В эту зиму (кажется, к весне 1900) произошло знакомство с А. В. Гиппиусом, который пришел ко мне за конспектом государственного права, услышав от кого-то, что мой конспект хорош. Мы стали видеться, я бывал у него (комната, всегда закрытая, за которой – молчанье большой квартиры, точно вымершей: на дворе (Тарасовского дома) – запах тополей).

В эту зиму было, должно быть, последнее объяснение с К. М. С. (или в предыдущую?). Мыслью я однако продолжал возвращаться к ней, но непрестанно тосковал о Л. Д. М.

В начале 1900 я взял место на балконе Малого театра: старый Сальвини играл Лира. Мы оказались рядом с Любовью Дмитриевной и с ее матерью. Любовь Дмитриевна тогда кончала курс в гимназии (Шаффе).

Все еще возвращались воспоминания о К. М. С. (стихи 14 апреля). Отъезд в Шахматове был какой-то грустный (стихи 16 мая). Первое шахматовское стихотворение («Прошедших

дней...». 28 мая) показывает, как овеяла опять грусть воспоминаний о 1898 годе, о том, что казалось (и действительно было утрачено).

Начинается чтение книг, история философии. Мистика начинается. Средневековый город Дубровской березовой рощи. Начинается покорность богу и Платон. В августе(?) решено окончательно, что я перейду на филологический факультет. «Паскаль» Зола (и др.). Как было в Боблове?

Осенью Любовь Дмитриевна поступила на курсы. Первое мое петербургское стихотворение – 14 сентября. Лекции Ернштедта, хождения в университет утром. В сентябре – опять возвращается воспоминание о К. М. С. (при взгляде на ее аметист 1897 года). Начало богоборчества. Она продолжает медленно принимать неземные черты. На мое восприятие влияет и филология, и болезнь, и мимолетные страсти (стихотворение 22 октября) с покаяниями после них.

Тут я хвастаюсь у Качаловых своим Платоном. У Петра Львовича Блока читаю «Три смерти» (Люция; Петр Львович – Лукана; И. И. Лапшин – Сенеку).

К концу 1900 года растет новое. Странное стихотворение 24 декабря («В полночь глухую...»), где признается, что Она победила морозом эллинское солнце во мне (которого не было).

В январе 1901 г. – концерт Панченки (не к главному для меня). 25 января – гулянье на Монетной к вечеру в совершенно особом состоянии. В конце января и начале февраля

(еще – синие снега около полковой церкви, – тоже к вечеру) явно является Она. Живая же оказывается Душой Мира (как определилось впоследствии), разлученной, плененной и тоскующей (стихи 11 февраля, особенно – 26 февраля, где указано ясно Ее стремление отсюда для встречи «с началом близким и чужим» (?) – и Она уже в дне, т. е. за ночью, из которой я на нее гляжу. То есть Она предана какому-то стремлению и «на отлете», мне же дано только смотреть и благословлять отлет).

В таком состоянии я встретил Любовь Дмитриевну на Васильевском острове (куда я ходил покупать таксу, названную скоро Краббом). Она вышла из саней на Андреевской площади и шла на курсы по 6-й линии, Среднему проспекту – до 10-й линии, я же, не замеченный Ею, следовал позади (тут – витрина фотографии близко от Среднего проспекта). Отсюда появились «пять изгибов».

На следующее утро я опять увидел Ее издали, когда пошел за Краббом (и привез в башлыке, будучи в исключительном состоянии, которого не знала мама).

Я покорился неведенью и боли (психологически – всегдашней суровости Л. Д. Менделеевой).

Бывала Катя Хрусталева, с которой я кокетничал своим Тайным знанием и мелодекламирал стихи Ал. Толстого, Апухтина и свои.

К весне началось хождение около островов и в поле за Старой Деревней, где произошло то, что я определял, как

Видения (закаты). Все это было подкреплено стихами Вл. Соловьева, книгу которых подарила мне мама на Пасху этого года.

А. В. Гиппиус показывал мне в эту весну только что вышедшие первые «Северные цветы» «Скорпиона», которые я купил, и Брюсов (особенно) окрасился для меня в тот же цвет, так что в следующее за тем «мистическое лето» эта книга играла также особую роль.

В том же мае я впервые попробовал «внутреннюю броню» – ограждать себя «тайным ведением» от Ее суровости («Все бытие и сущее...»). Это, по-видимому, было преддверием будущего «колдовства», так же как необычайное слияние с природой.

Началось то, что «влюбленность» стала меньше призвания более высокого, но объектом того и другого было одно и то же лицо. В первом стихотворении шахматовском это лицо приняло странный образ «Российской Венеры». Потом следуют необыкновенно важные «ворожбы» и «предчувствие изменения облика».

Тут же получают смысл и высшее значение подробности незначительные с виду и явления природы (болотные огни, зубчатый лес, свечение гнилушек на деревенской улице ночью...).

Любовь Дмитриевна проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно светился. Она дала мне понять, что мне не надо ездить в Барнаул, куда ме-

ня звали погостить уезжавшие туда Кублицкие. Я был так преисполнен высоким, что перестал жалеть о прошедшем.

Тут я ездил в Дедово, где уже не ухаживал за Марусей, но вел серьезные разговоры с Соловьевыми. Дядя Миша подарил мне на прощанье сигару и только что вышедший (им выпущенный) I том Вл. Соловьева.

Осенью Сережа приезжал в Шахматово. Осень была преисполнена напряженным ожиданием. История с венком и подушкой произошла, кажется, в это лето (или в предыдущее?). На фабрике я читал «Хирургию» Чехова. Спектаклей, кажется, не было. Были блуждания на лошади вокруг Боблова (с исканием места свершений) – Ивлево, Церковный лес. Прощание я помню: Любовь Дмитриевна вышла в гостиную (холодная яркая осень) с напудренным лицом.

Возвращение в Петербург было с мамой 6 сентября в одном поезде с М. С. Соловьевым, который рассказывал, что в Москве есть Боря Бугаев, что там обращено внимание на мои стихи. Рано утром он, сутулясь, вышел в Саблине, чтобы ехать в Пустыньку за бумагами, касающимися брата.

Сентябрь прошел сравнительно с внутренним замедлением (легкая догматизация). Любовь Дмитриевна уже опять как бы ничего не проявляла. В октябре начались новые приступы отчаянья (Она уходит, передо мной – «грань богопознания»), Я испытывал сильную ревность (без причины видимой). Знаменательна была встреча 17 октября.

К ноябрю началось явное мое колдовство, ибо я вызвал

двойников («Зарево белое...», «Ты – другая, немая...»).

Любовь Дмитриевна ходила на уроки к М. М. Читау, я же ждал ее выхода, следил за ней и иногда провожал ее до Забалканского с Гагаринской – Литейной (конец ноября, начало декабря). Чаше, чем со мной, она встречалась с кем-то – кого не видела и о котором я знал.

Появился мороз, «мятель», «неотвязный» и царица, звенящая дверь, два старца, «отрава» (непосланных цветов), свершающий и пользующийся плодами свершений («другое я»), кто-то «смеющийся и нежный». Так кончился 1901 год. Тут – Боткинский период.

Новогодний визит. Гаданье m-me Ленц и восторг (демонический: «Я шел...»).

---

## В. МАЯКОВСКОМУ

Не так, товарищ!

Не меньше, чем вы, ненавижу Зимний дворец и музеи. Но разрушение так же старо, как строительство, и так же традиционно, как оно. Разрушая постылое, мы так же скучаем и зеваем, как тогда, когда смотрели на его постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете, проклятия времени не избыть. Ваш крик – все еще только крик боли, а не радости.<sup>23</sup> Разрушая, мы все те же еще рабы старого мира: нарушение традиций – та же традиция. Над нами – большее проклятье: мы не можем не спать, мы не можем не есть. Од-

---

<sup>23</sup> Вагнер. (Прим. А. Блока)

ни будут строить, другие разрушать, ибо «всему свое время под солнцем», но все будут рабами, пока не явится третье, равно не похожее на строительство и на разрушение.



# 1919

**1 апреля**

Я получил корректуру статьи /poets/  
ivanov\_v\_bio.html»>Вяч. Иванова о «кризисе гуманизма»  
и боюсь читать ее.

# 1920

Вечер в клубе поэтов на Литейной, 21 октября, – первый после того, как выперли Павлович, Шкапскую, Оцупа, Сюн-нерберга и Рождественского и просили меня остаться.

Мое самочувствие совершенно другое. Никто не пристает с бумагами и властью.

Верховодит Гумилев – довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувствуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обращение. Все под Гумилевым.

Гвоздь вечера – И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь [...] виден артист. Его стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему). Его «Венеция». По Гумилеву – рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое. (В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова, уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словом – все исчезнет, останется одно Оно.)

Пяст, топорщащийся в углах (мы не здороваемся по-прежнему). Анна Радлова невпопад вращает глазами. Груш-

ко подшлепнутая. У Нади Павлович больные глаза от зубной боли. Она и Рождественский молчат. Крепкое впечатление производят одни акмеисты.

Одоевцева.

М. Лозинский перевел из Леконта де Лилля – Мухаммед Альмансур, погребенный в саване своих побед. Глыбы стихов высочайшей пробы. Гумилев считает его переводчиком выше Жуковского.

Гумилев и Горький. Их сходства: волевое; ненависть к Фету и Полонскому – по-разному, разумеется. Как они друг друга ни не любят, у них есть общее. Оба не ведают о трагедии – о двух правдах. Оба (северо) – восточные.

# 1921

## 2 февраля

[...] Издательство «Алконост» не стесняется рамками литературных направлений. Тот факт, что вокруг него соединилась группа писателей, примыкающих к символизму, объясняется, по нашему убеждению, лишь тем, что именно эти писатели оказались по преимуществу носителями духа времени.

Группа писателей, соединившаяся в «Алконосте», проникнута тревогой перед развертывающимися мировыми событиями, наступление которых она чувствовала и предсказывала; потому – она обращена лицом не к прошедшему, тем менее – к настоящему, но – к будущему. Этим определяется лицо издательства и его название.

## 7 февраля

Перед нашими глазами с детства как бы стоит надпись; огромными буквами написано: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет многие дни нашей жизни.

Имена основателей религий, великих полководцев, завоевателей мира, пророков, мучеников, императоров – и рядом это имя: Пушкин.

Как бы мы не оценивали Пушкина – человека, Пушкина – общественного деятеля, Пушкина – друга декабристов,

Пушкина – мученика страстей, все это бледнеет перед одним: Пушкин – поэт. Едва ли найдется человек, который не захочет прежде всего связать с именем Пушкина – звание поэта. [...]

## **7 марта**

В 1918–1919 гг. я получал случайные номера журнала «Рабочий мир», издание «Московского центрального кооператива». Журнал по большей части марксистский, конечно; тем не менее, несмотря на сотрудничество Львова-Рогачевского и т. п., там попадались культурные статьи: например, «Вершины жизни» Машковцева – об искусстве; «Приезд послов в старой Москве» с иллюстрациями: Левитану отдается предпочтение перед Шишкиным; «Искусство свободного воспитания тела» (о Дункан и Далькрозе) – Х. Веселовского; о художнике Федотове – с иллюстрациями. – По-видимому, и этот журнальчик заглох.

При Временном правительстве, начиная с мая 1917 года и окончившись лишь после октябрьского переворота (последний, 24-й, номер я видел в феврале 1918-го, он помечен 1 февраля), выходил журнал Родзянко «Народоправство». Редактировал Чулков Г.И., писали Бердяев, Вышеславцев, Алексеев и другие московские профессора, Чулков, Зайцев, Ремизов, священник Сережа Соловьев, Пришвин, Ал. Толстой, Вяч. Иванов, Кондорушкин и др. Очерки Ремизова назывались «Всеобщее восстание». Чулков негодовал на Горь-

кого по поводу его презрения к русским и обожания евреев. Интересны записи «солдатских бесед», подслушанных каким-то Федорченко – отрывки (ЛЛ 9,10, 11, 12, 13). Это самое интересное.

Бердяев после октября (Л15) пишет многословно и интересно, что революции никакой и не было. Все – галлюцинация, движение в хаосе и анархии не бывает, все еще пока – продолжение догнивания старого, пришло смутное время (стихи В. Иванова в журнале называются «песнями смутного времени»), все революционные идеи давно опошлись, ненависть к буржуазии есть исконная ненависть темного Востока к культуре, «одолеет германский яд», Россия не выдержала войны. Мораль: покаяться и смириться, жертвенно признать элементарную правду западничества, необходим долгий труд цивилизации.

Чулков спорит, говоря, что «происходящее» есть мрачная контрреволюция, а в марте революция была.

Но записи Федорченко всего интереснее, кто он и чем окрашивает, что слышит, что выбирает. Выходит серо, грязно, гадко, полно ненависти, темноты, но хорошо, правдиво, совестно. [...]

## **20 апреля**

Орг прислал «Русскую мысль» П. Струве, январь-февраль 1921 года. Та же обложка – только прибавлено: «Основана в 1880 году». Передовая от редакции «К старым и новым

читателям «Русской мысли»», как весь номер, проникнута острым национальным чувством и «жертвенной» надеждой на возрождение великодержавной России. [...]

Начало дневника З.Н. Гиппиус. Это очень интересно, блестяще, большею частью, я думаю, правдиво, но – своекорыстно. Она (они) слишком утяжелена личным, тут нет широких, обобщающих точек зрения. Может быть, на обобщения такого размера, какие сейчас требуются, они и вовсе не способны. Патриотизм и национализм всей «Русской мысли» – тоже не то, что требуется. Это правда, но только часть. У Зинаиды Николаевны – много скверных анекдотов о Горьком, Гржебине и др. [...]

## 11 мая

[...]В Москве зверски выбрасывают из квартир массу жильцов интеллигенции, музыкантов, врачей и т. д. Москва хуже, чем в прошлом году, но народу много, есть красивые люди, которых уже не осталось здесь, улица шумная, носят автомобили, тепло (не мне), цветет все сразу (яблони, сирень, одуванчики, баранчики), грозы, ливни. Я иногда дремал на солнце у Смоленского рынка на Новинском бульваре. [...]

\* \* \*

С. Ефрон в Берлине приступает к изданию выдающихся

поэтов последнего двадцатилетия, в том виде, как авторы сами себя издавали! В первую очередь К. Бальмонт, А. Блок, А. Ахматова (!?)